

Джованни Казанова

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 4



История Жака Казановы

Джованни Казанова

**История Жака Казановы
де Сейнгальт. Том 4**

«Автор»

Казанова Д. Д.

История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 4 / Д. Д. Казанова — «Автор», — (История Жака Казановы)

«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная. Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично. Скандал достиг такой степени, что мудрое правительство было вынуждено приказать молодому человеку отправиться жить куда-то в другое место...»

© Казанова Д. Д.

© Автор

Содержание

Глава I	6
Глава II	13
Глава III	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Джованни Казанова
История Жака Казановы де Сейнгальт,
венецианца, написанная им самим
в замке Дукс, Богемия, том 4

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Глава I

Кроме изгоняют из Венеции. Сгомбро. Его бесчестие и его смерть. Случается несчастье с моей дорогой К. К. Я получаю анонимное письмо от монахини и отвечаю на него. Любовная интрига.

Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.

Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу *Сгомбро (Макрель)* влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично. Скандал достиг такой степени, что мудрое правительство было вынуждено приказать молодому человеку отправиться жить куда-то в другое место.

Но немного времени спустя то, что приключилось со Сгомбро, возымело более серьезные последствия. Будучи влюблен в своих двух сыновей, он заставил более красивого из них прибегнуть к помощи хирурга. Бедный мальчик исповедался, что ему не хватило смелости отказать в повиновении творцу своих дней. Такая покорность отцовской нежности с полным основанием взывала к отвращению природы. Государственные инквизиторы отправили отца-тирана в цитадель Катаро, где он умер через год, отравленный ядовитыми испарениями. Вредоносное воздействие тамошнего воздуха прекрасно известно трибуналу, и он приговаривает к его вдыханию только тех граждан, кто заслуживает смерти, совершив преступления, которые из политических соображений не могут быть осуждены публично.

Это в Катаро Совет Десяти отправил пятнадцать лет назад знаменитого адвоката Контарини, знатного венецианца, который, благодаря своему красноречию, стал главой Высшего Совета и собирался изменить конституцию. Он тоже умер там через год. Что касается его сторонников, сочли достаточным наказать лишь четырех-пятерых главных из них.

У этого нобля Сгомбро, о котором я говорю, была очаровательная жена, которая, думаю, еще жива. Это м-м Корнелия Гритти, знаменитая своим умом даже более, чем своей красотой, противостоящей разрушительному действию времени. По смерти своего мужа, став себе хозяйкой, она смеялась над всеми, кто пытался посягнуть на ее свободу, но, никогда не заявляя себя врагом любви, благосклонно принимала их поклонение.

Однажды, в конце июля, в понедельник, мой слуга разбудил меня на рассвете, говоря, что женщина, которая приходит каждую среду, хочет со мной говорить. Вот письмо, которое она мне передала с грустным видом:

«Воскресенье, вечер. Несчастье, что случилось со мной, приводит меня в отчаяние, потому что я должна скрывать его от всего монастыря. У меня течет кровь, я не знаю, как ее остановить, и у меня мало бинтов. Лаура сказала, что нужно много бинтов в случае тяжелого кровотечения, и я не могу ни с кем посоветоваться. Отправь мне бинтов, мой единственный друг. Ты видишь, я должна довериться Лауре, которая теперь может приходить в мою комнату в любое время. Если я от этого кровотечения умру, весь монастырь узнает причину моей смерти; но я думаю о тебе и я дрожу, что ты сделаешь что-нибудь в своей скорби. Ах, мой дорогой друг! Какое горе!»

Я поспешно одеваюсь, думая при этом о деле. Я спрашиваю у Лауры, какой характер носит геморрагия, и она ясно отвечает, что это процесс выкидыша, и что нужно действовать под наибольшим секретом из-за угрозы репутации мадемуазель. Она говорит, что нужно лишь бинтов, и что ничего не будет. Это лишь слова. Едва одевшись, я велю добавить в мою гондолу второе весло, сажусь в нее вместе с Лаурой, направляюсь в *Гетто* и покупаю у еврея все его

белое полотно и пару сотен салфеток и, засунув все это в мешок, направляюсь в Мурано. Дорогой я пишу карандашом моей дорогой подруге, чтобы доверилась во всем Лауре, и заверяю ее, что не покину Мурано, пока не остановится ее кровотечение. Лаура, сойдя с гондолы, убедила меня, что чтобы меня не увидели, я должен спрятаться у нее. Она пустила меня в комнату на первом этаже, заполненную тряпьем, где стояли две кровати. Спрятав под свои юбки все полотно и салфетки, что смогла, она пошла к больной, которую видела накануне в начале ночи. Я надеялся, что она найдет ее уже вне опасности, и мне не терпелось узнать новости.

Она вернулась час спустя, говоря, что та всю ночь теряла много крови, лежит в постели очень слабая, и что нужно поручить себя милости божьей, потому что если геморрагия не прекратится, она должна скончаться в двадцать четыре часа. Когда я увидел белье, которое она достала из-под своих юбок, я чуть не умер. Это была бойня. Она сказала, что не следует бояться за секретность, но значительно больше за жизнь бедной девочки. Странный способ проявить сочувствие, но в тот момент глупость не могла меня рассмешить. Она сказала, что, читая мое письмо, та улыбнулась и, поцеловав его, заверила ее, что когда я вблизи нее, она уверена, что не умрет.

Я содрогнулся, когда эта добрая женщина показала мне измазанную кровью бесформенную массу. Она сказала, что сейчас выстирает это все и затем вернется в монастырь, чтобы отнести больной белье, когда весь монастырь будет за столом.

– Ходят ли к ней с визитами?

– Весь монастырь; но никто не догадывается, что это за болезнь.

– Но, с нынешней жарой, на ней только легкое одеяло и не может быть, чтобы никто не заметил большую массу салфеток.

– Тем не менее, потому что она приподнимается сидя.

– Что она ест?

– Ничего. Ей не следует есть.

Затем она ушла, и я тоже. Я направился к врачу Пейтону, где потерял время и деньги, что я ему дал за длинный рецепт, который я не использовал. Он сделал бы понятной болезнь моего ангела для всего монастыря, да и сам врач должен был бы рассказать о ней в монастыре из соображений осторожности. Зайдя к себе домой за своим несессером, я вернулся в мое убежище, где полчаса спустя увидел очень грустную Лауру, которая передала мне записку К. К.:

«Мой дорогой друг, у меня нет сил писать. Я истекаю кровью и ничто не помогает. Бог наш владыка, но моя честь прикрыта. Мое единственное утешение в том, что ты здесь». Лаура ужаснула меня, показав еще десять-двенадцать салфеток, пропитанных кровью. Она думала меня утешить, говоря, что вместе с книгами их набралось бы с сотню, но я не способен был утешиться. Я был в полном отчаянии. Сознывая себя палачом этой невинной, я не чувствовал себя способным ее пережить. Я лежал оглушенный на кровати, не говоря ни слова, шесть часов подряд, до момента, когда Лаура вернулась из монастыря с двадцатью окровавленными салфетками. Ночь не позволила ей вернуться обратно. Она должна была дожидаться нового дня. Я ждал ее, не имея сил ни заснуть, ни поесть и не позволяя раздеть меня дочерям Лауры, хорошеньким, но внушавшим мне ужас. Они представлялись мне инструментами моей ужасной несдержанности, которая сделала меня убийцей ангела во плоти.

Солнце вышло из-за горизонта, когда вошла Лаура, передав мне с печальным видом новость, что бедная девочка больше не кровоточит. Она считала, что мне нужно быть готовым, что в течение дня она умрет.

– Она истощена, – сказала она, – ей едва хватает сил держать глаза открытыми, она как восковая, ее пульс едва прощупывается.

– Но, дорогая Лаура, это не плохая новость. Ей надо теперь дать немного еды.

– Отправили за доктором. Он определит, что ей давать, но, по правде говоря, я не надеюсь. Вы считаете, что она не должна говорить правды доктору, так что бог знает, что он ей пропишет. Я сказала ей на ушко, чтобы она ничего не принимала, и она меня поняла.

– Если она не исчахнет до завтра, я уверен, она выживет, и ее врачом будет природа.

– Помогите ей боже! Я вернусь к ней в полдень.

– Почему не раньше?

– Потому что ее комната будет полна народа.

Мне было необходимо надеяться, я ощутил потребность поддерживать свою жизнь, я заставил себя поесть и, в ожидании, стал писать К. К., надеясь, что она вернется в состояние, когда сможет читать. Моменты раскаяния грустны. Я был полон сожаления. Я ощущал настоятельную потребность увидеть Лауру, чтобы спросить оракула по поводу этого врача. У меня были большие основания посмеяться над всеми оракулами; но, несмотря на это, мне действительно хотелось спросить оракула об этом враче, и особенно, услышать его предписания.

Дочери Лауры принесли мне обед, но я не мог ничего проглотить. Они развлекли меня, поедая все сами с большим аппетитом. Старшая дочь – аппетитный кусочек – совсем не смотрела на меня. Две младшие казались мне поразвзнее, но я посматривал на них, только подпитывая свое жестокое раскаяние.

Наконец, пришла Лаура, говоря, что больная в том же состоянии изнеможения, что ее великая слабость очень удивила врача, который не знал, чему ее приписать. Он прописал ей укрепляющее и легкий бульон и предсказал, что она выздоровеет, если сможет поспать. Он назначил ей ночную сиделку, больная взяла Лауру за руку, и та дала ей понять, что больше ее не покинет. Пришла мать повидать ее, и эта новость меня порадовала. Я ясно увидел, что если она сможет поспать, она выздоровеет, так что я с нетерпением ждал завтрашнего дня. Я дал шесть цехинов Лауре и по одному каждой из дочерей и пообедал рыбой. Я лег спать раздевшись, несмотря на неудобную кровать. Когда дочери Лауры увидели, что я лег, они разделись без смущения и улеглись все вместе на другую кровать, рядом с моей. Это доверие мне понравилось. Их старшая сестра должна была все понимать. Она пошла лечь в другую комнату, потому что у нее был любимый, за которого она должна была выйти замуж осенью.

На завтра, очень рано, пришла Лаура с очень радостным видом и сказала, что больная хорошо поспала и что она вернется в монастырь принести ей супу.

Еще не время, однако, торжествовать победу, так как ей надо восстанавливать силы и накопить кровь, которую она потеряла. Я к этому моменту уже почувствовал уверенность, что она выздоровеет, и дело к этому шло. Но я оставался там еще восемь дней, не решаясь уехать, пока К. К. мне не приказала, так сказать, в письме на четырех страницах. Лаура при моем отъезде плакала от удовольствия, видя себя вознагражденной почти совсем хорошим бельем, которое я покупал для больной, и ее две младшие дочери плакали, по-видимому, потому, что, проведя около них десять дней, я не удосужился подарить им хотя бы один поцелуй.

Я вернулся в Венецию, к своим старым привычкам, но без реальной счастливой любви я не мог быть доволен. У меня не было иной радости, кроме как получать каждую среду письмо от моей маленькой женушки, которая ободряла меня в моем ожидании возможности ее увезти. Лаура заверила меня, что она стала еще красивее. Я умирал от желания ее увидеть.

Это случилось в конце августа; Лаура мне сказала о предстоящем пострижении, которое привело в движение весь монастырь, и я решил доставить себе удовольствие повидать моего прекрасного ангела. Приемные покои должны были быть заполнены народом и монашенки принимали визитеров в дверях монастыря; вероятно было, что пансионеры выйдут и что К. К. выйдет тоже. Я мог не опасаться, что буду выделяться среди других в тот день, когда будет большое количество незнакомого народа. Я отправился, ничего не сказав Лауре и не известив о том К. К. в своем последнем письме.

Я думал, что умру от радости, когда увидел ее в четырех шагах от себя, внимательную и удивленную при моем появлении. Я нашел ее выросшей, более оформившейся и еще более похорошевшей, что казалось мне невозможным. Я не отрывал глаз от нее и возвратился в Венецию, лишь когда закрыли дверь.

Письмо, которое она написала мне три дня спустя, обрисовало мне самыми живыми красками удовольствие, которое она испытала, увидев меня, и не смог ли бы я придумать средство доставлять его ей чаще. Я сразу ответил, что она будет видеть меня на мессе в своей церкви каждый день праздников, и начал приводить план в действие. Это мне ничего не стоило. Я не видел ее, но, зная, что она меня видит, ее удовольствие ощущал как свое. Я мог ничего не опасаться, так как было почти невероятно, чтобы кто-то смог меня узнать в церкви, где были только буржуа, и буржуа с Мурано. Прослушав одну или две мессы, я садился в проходящую гондолу, в которой лодочник не имел никакого интереса меня узнавать. Однако я соблюдал некоторую осторожность. Зная, что отец К. К. желал, чтобы она меня забыла, я был уверен, что если он узнает, что я не прекратил с ней видеться, он поместит ее в другой монастырь, где я не смогу иметь с ней никакой корреспонденции.

Так я размышлял, но я не знал ни характера монашенок, ни особенностей их любопытства. Кроме того, я не думал, что моя персона заметна, и что, видя меня усердно посещающим их церковь, они все сообразят, что это не может быть без причины, и что они сделают все возможное, чтобы ее разузнать.

К. К. по прошествии пяти-шести праздников мне написала в игривом тоне, что я стал загадкой для всего монастыря, для монашек и для пансионеров. Весь клир ожидает меня точно по минутам; все предупреждают друг друга, когда я вхожу и подхожу к чаше со святой водой, и заметили, что я никогда не смотрю на решетку, за которой должны находиться все затворницы, и ни на одну женщину или девушку, входящую или выходящую из церкви. Старые монашки говорили, что у меня должно быть какое-то большое горе, которое я надеюсь излечить только с помощью их Святой Девы, к которой испытываю почтение; молодые же говорили, что я болен меланхолией, мизантроп, бегущий от шумного мира. Моя дорогая жена, которая писала мне все это, развлекала меня. Я написал ей, что если она опасается, что я могу быть узнан, я прекращу приходить, и она ответила, что ей станет очень грустно, если она лишится удовольствия видеть меня, что составляет все ее счастье. Узнав однако об этом общем любопытстве, я не решился приходить к Лауре. Я худел, я мало помалу саморазрушался, я не мог долго придерживаться такого образа жизни. Я был рожден, чтобы иметь любовницу и чтобы жить счастливо с ней. Не зная, что делать, я играл, и почти каждый день был в выигрыше, но, несмотря на это, скучал. Получив пять тысяч цехинов, что я выиграл в Падуе благодаря счастливой руке моего напарника, я последовал совету г-на де Брагадин. Я выбрал *казен*¹, где метал талью в фараон пополам с неким вельможей, который гарантировал меня от мошенничеств великих мира сего, перед которыми простой участник игры всегда виноват на моей очаровательной родине.

1753 год. В день Всех Святых, в момент, когда, прослушав мессу, я садился в гондолу, чтобы вернуться в Венецию, я столкнулся с женщиной типа Лауры, которая, уронив к моим ногам листок бумаги, пошла дальше. Я его подобрал и увидел, что та женщина, заметив, что я забрал листок, пошла своей дорогой. Листок был белый и запечатан в испанский воск цвета *авантюрин*. Печатка представляла собой скользящую петлю. Едва ступив в гондолу, я распечатал письмо и прочел:

«Монашенка, которая в течение двух с половиной месяцев видит вас во все дни праздников в своей церкви, хочет, чтобы вы с ней познакомились. Брошюра, которую вы потеряли и которая попала в ее руки, дает ей уверенность, что вы знаете французский. Вы можете, однако, отвечать ей на итальянском, потому что она предпочитает ясность и точность. Она не предла-

¹ игорный клуб

гает вам пригласить ее в приемную, потому что прежде, чем вы окажетесь перед необходимостью с ней говорить, она хочет, чтобы вы ее увидели. Она укажет вам на даму, которую вы сможете сопровождать в приемную, которая вас не знает и, соответственно, не нуждается в том, чтобы вы ей представлялись, если вдруг вы не захотите, чтобы вас узнали.

Если вам кажется, что это не подходит, та же монахиня, что пишет вам это письмо, назовет вам казен здесь, в Мурано, где вы найдете ее одну в первом часу ночи в день, который вы выберете; вы сможете остаться поужинать с ней или уйти через четверть часа, если у вас будут дела.

Вы предпочитаете предложить ей поужинать в Венеции? Назовите ей день, ночной час и место, куда она должна прибыть, и вы найдете ее в маске, выходящей из гондолы; будьте на набережной один, без слуги, в маске и со свечой в руке.

Будучи уверена, что вы мне ответите, и беспокоясь, как я смогу получить и прочесть ваш ответ, прошу вас отдать его завтра той же женщине, которая доставила это письмо. Вы найдете ее за час до полудня в церкви С. Касиано у первого придела справа.

Подумайте, что если бы я не предполагала в вас здравого ума и порядочности, я никогда бы не решилась на поступок, который может внушить вам относительно меня самое пагубное суждение».

Тон этого письма, которое я скопировал слово в слово, поразил меня еще более, чем сам факт. У меня были дела, но я все забросил, чтобы пойти запереться и написать ответ. Просьба была безумной, но в ней чувствовалось достоинство, и это вынуждало ее уважить. Я мог предположить, что монахиня могла быть та же самая, что обучала французскому языку К. К., и была красива, богата и галантна, что моя дорогая жена могла проявить нескромность, но при этом не быть в курсе этого невероятного поступка своей подруги и поэтому не могла меня предупредить. Но я отказался от этого предположения именно потому, что оно мне нравилось. К. К. мне писала, что монашенка, которая учила ее французскому, была не единственная, кто хорошо владел этим языком. Я не мог сомневаться в сдержанности К. К. и в искренности, с которой она бы поделилась со мной, если бы в какой-то мере делилась с этой монашкой своими тайнами. Несмотря на это, монашенка, которая мне писала, могла быть близкой подругой К. К., а могла и не быть ею, поэтому я отвечал, сдержав свою лошадь перед канавой, насколько позволяла благовоспитанность.

«Я надеюсь, мадам, что мой ответ по-французски не скажется на ясности и точности, как вы того требуете и пример чего вы даете.

Предмет представляется мне интересным и кажется весьма важным, учитывая обстоятельства, и, будучи вынужден отвечать, не зная кому, не согласитесь ли, мадам, что я, не будучи фатом, должен опасаться ловушки? Честь обязывает меня быть настороже. Если правда, что перо, пишущее мне, принадлежит respectable даме, которая оказывает мне честь, полагая во мне также порядочную душу и ум такой же добрый, как и свой, она найдет, надеюсь, что я не могу ответить ей иначе, чем следующими словами:

– Если вы считаете меня достойным, мадам, познакомиться с вами лично, судя обо мне лишь по видимости, я считаю себя обязанным повиноваться вам, если только в вас не вызовет разочарование то, что я невольно вовлек вас в ошибку.

Из трех способов, которые вы великодушно мне предлагаете, я смею выбрать только первый, с теми оговорками, которые ваш столь проницательный ум мне помечает. Я провожу в вашу приемную даму, которую вы мне назовете, и которая меня не знает. Таким образом, не встанет вопрос, чтобы мне ей представиться. Будьте снисходительны, мадам к тем особым соображениям, которые вынуждают меня не называться. Взамен, я клянусь вам честью, что ваше имя станет мне известно только в связи с необходимостью воздать вам честь. Если вы сочтете уместным обратиться ко мне со словом, я отвечу вам только, воздавая вам знаки своего глубокого уважения. В конце разрешите выразить уверенность, что вы будете одна, и замечу

для проформы, что я венецианец и свободен во всех смыслах этого слова. Единственное соображение, которое мне мешает остановиться на двух других способах, что вы мне предлагаете, и которые мне бесконечно лестны, это, позвольте повторить, опасение ловушки. Эти счастливые свидания могли бы произойти, если бы мы больше узнали друг друга, и никакое сомнение не смущало бы мою душу, чуждую обмана. С большим нетерпением, со своей стороны, приду завтра в то же время в С. Касиан, чтобы получить ваш ответ».

Найдя женщину в указанном приделе, я отдал ей письмо и цехин. На другой день я вернулся, и она ко мне подошла. Вернув мне цехин, она передала этот ответ и попросила, чтобы я прочел его и пришел затем сказать ей, должна ли она ждать ответ. Прочтя письмо, я пришел сказать, что ничего не передам в ответ. Вот что было сказано в письме этой монахини:

«Я полагаю, месье, что не буду понапрасну разочарована. Мне, как и вам, ненавистна ложь, приводящая к дурным последствиям; но я отношусь к ней лишь как к шутке, когда она не приносит никому вреда. Вы выбрали из моих трех предложений то, которое отдает больше чести вашему уму. Уважая соображения, которые вы можете иметь к тому, чтобы скрыть ваше имя, я написала графине де С. то, что прошу вас прочесть в приложенной записке. Вы ее запечатаете и отправите. Она будет предупреждена другой запиской. Вы пойдете к ней, когда вам будет удобно; она назначит вам время, и вы сопроводите ее в ее собственной гондоле. Она не будет вас ни о чем спрашивать, и вам не нужно будет ничего ей объяснять. Не возникнет никакого вопроса о представлении, но поскольку вы узнаете мое имя, вам останется только явиться в маске увидеть меня в приемной, когда вам захочется, попросив меня вызвать ту же графиню. Так наше знакомство состоится, без того, чтобы заставить вас терять ночью время, которое вам, возможно, дорого. Я приказала служанке ждать вашего ответа, в случае, если вы знакомы с графиней и она вам не подходит. Если ее выбор вам понравился, скажите служанке, что у вас нет ответа, и она пойдет относить этой графине мою записку. Вы отнесете ей свою, по своему усмотрению».

Я сказал служанке, что у меня нет никакого ответа, когда убедился, что незнаком с этой графиней и никогда не слышал ее имя. Вот содержание записки, которую я должен был ей передать:

«Прошу тебя, дорогой друг, прийти поговорить со мной, когда у тебя найдется время, и назвать маске-носителю этой записки время, когда он сможет тебя сопроводить. Он будет точен. Ты очень обяжешь твою добрую подружку.»

Адрес был – мадам графине де С. на набережной Ромарин. Эта записка показалась мне соответствующей духу интриги. Было что-то возвышенное в ее течении. Она вызывала в моем представлении персону, полную грации. Мне предстояло в этом убедиться.

Монахиня в своем последнем письме, не стараясь понять, кто я такой, приветствовала мой выбор и хотела казаться безразличной к ночным свиданиям, но она считала, и, кажется, даже была уверена, что я буду призывать к ним, после того, как увижу ее в приемной монастыря. Ее уверенность увеличивала мое любопытство. Она вполне могла на это рассчитывать, если она молода и красива. Мне надо было выделить три-четыре дня и понять, не была ли этой монахиней К. К.; но помимо того, что это было бы черное коварство, я боялся испортить авантюру и раскаяться в ней. Она сказала мне пойти к графине, когда мне удобно: ее чувство собственного достоинства требовало не показывать сильной заинтересованности, но она знала, что я должен быть заинтересован. Она мне показалась слишком сведущей в галантной науке, чтобы счесть ее новичком и неопытной, и я боялся раскаяться в потерянное зря времени; я был готов посмеяться, если бы встретился со старухой. Наконец, я решил, что пойду только из любопытства, чтобы увидеть, как себя поведет со мной женщина с таким характером, и это станет ясно после предложения поужинать со мной в Венеции. Я был, однако, очень удивлен большой свободой этих святых девственниц, способных так легко преодолевать монастырскую ограду.

В три часа после полудня я отправил графине де С. записку. Она вышла минуту спустя из комнаты, где находилась в компании, и сказала мне, что я доставлю ей удовольствие, явившись завтра в это же время к ней, и, сделав мне великолепный реверанс, удалилась. Это была солидная женщина, немного на закате, но еще красивая.

Назавтра с утра, дело было в воскресенье, я направился в обычное время к мессе, одетый и причесанный со всей элегантностью, и уже изменяя в уме моей дорогой К. К., потому что думал больше о том, чтобы увидеть монахиню, молодую или старую, чем о ней.

После обеда я надел маску, и в назначенный час пошел к графине, которая меня ожидала. Мы спустились в большую двухвесельную гондолу и направились в монастырь ХХХ, не разговаривая ни о чем, кроме прекрасной осени, которая наступила. Она просила называть ее подругу М. М... Это имя меня удивило, потому что оно было известным. Мы вошли в малую приемную, и пять минут спустя я вижу, что появляется эта М. М., направляется прямо к решетке, открывает четыре квадратные секции, отщелкнув пружину, обнимает свою подругу и снова закрывает это хитроумное окно. Эти четыре квадрата образуют отверстие в восемнадцать квадратных дюймов. Мужчина моей комплекции смог бы через него пройти. Графиня усаживается напротив монахини и, с другой стороны, меня, так, чтобы я мог, со своей стороны, наблюдать эту редкостную красавицу двадцати двух – двадцати трех лет. Я сразу решил, что это, должно быть, та самая, которой К. К. воздавала столько похвал, которая нежно ее любила и обучала ее французскому языку.

Восхищение вывело меня из себя, я не слышал ничего из того, о чем они говорили. Что касается их, монахиня не только не обращалась ко мне словом, но и не удостаивала меня единым взглядом. Она была совершенной красоты, высокая ростом, белая до бледности, благородного вида, решительная и в то же время сдержанная и застенчивая, с большими голубыми глазами, с лицом нежным и улыбочивым, с прекрасными влажными розовыми губами, позволявшими видеть два ряда превосходных зубов. Прическа монахини не позволяла видеть ее волосы, но так или иначе их цвет должен был быть светло-каштановым, в чем меня убеждали ее брови, но что меня восхитило, это ее предплечье, которое я видел по локоть; не приходилось видеть ничего более совершенного. Не видно было вен и на месте мускулов видны были только ямочки. Несмотря на все это, я не раскаивался в том, что уклонился от двух свиданий, оживленных ужином, что предлагала мне эта божественная красавица. Будучи уверен, что в ближайшие дни стану ее обладателем, я наслаждался удовольствием воздать ей честь своим преклонением. Мне не терпелось оказаться наедине с ней за решеткой, и мне казалось, что я совершу самую большую ошибку, если отложу на срок более поздний, чем завтра, мое признание в том, что, со своей стороны, воздал должное ее достоинствам. Она оставалась все время спокойной, не глядя на меня, но это мне, в конце концов, понравилось.

Внезапно две дамы понизили голос, приблизившись головами друг к другу, что дало мне понять, что я лишний, я медленно отошел от решетки, подойдя осмотреть картину. Четверть часа спустя они попрощались, обнявшись перед подвижной решеткой. Монахиня повернулась ко мне спиной, даже не кивнув мне головой. Графиня, возвращаясь со мной в Венецию и наскучив, возможно, моим молчанием, сказала мне с улыбкой:

– М. М. прекрасна, но ее ум еще более редкое явление.

– Я вижу одно и предполагаю другое. Не захотев, чтобы я ей представился, она этим хотела игнорировать мое присутствие. Таким образом, она меня наказала.

Графиня ничего не ответила, и мы прибыли к ее дому, не раскрывая больше рта. Я покинул ее у дверей, потому что она отвесила мне низкий поклон, который означал: «Я благодарю вас. Прощайте». Я отправился мечтать об этом странном приключении, которому хотел видеть неизбежное продолжение.

Глава II

Графиня Коронини. Любовная неудача. Примирение. Первое свидание. Философское отступление.

Она со мной не разговаривала, и я был этому рад. Я был настолько сверх меры расхвален, что не смог бы, возможно, ответить ничего путного. Я видел, что она не опасалась в этом случае унижения от отказа, но все же от такой женщины требовалась большая смелость, чтобы пойти на этот риск. Такая смелость в ее возрасте меня удивила и я не мог представить себе столько свободы. Казен в Мурано! Возможность отправиться в Венецию! Я решил, что она обладает счастливыми возможностями, позволявшими получать от жизни удовольствия. Эта мысль ставила границы моему тщеславию. Я увидел, что готов оказаться неверным К. К., но не испытывал при этом никакого угрызения. Мне казалось, что неверность такого рода, если она будет раскрыта, не может доставить ей неудовольствие, потому что способна только поддержать во мне жизнь и, соответственно, сохранить меня для нее.

Назавтра я отправился с визитом к графине де Коронини, которая жила для собственного удовольствия при монастыре Сен-Жюстин. Это была старая дама, посвященная в дела всех дворов Европы, которая, участвуя в них, снискала себе определенную репутацию. Желание отдохнуть от дел, пришедшее вместе с разочарованием, заставило ее избрать это уединенное существование. Я был представлен ей одной монахиней, родственницей г-на Дандоло. Эта женщина, бывшая когда-то красавицей, обладала большим умом не желала больше использовать его в переплетениях интересов различных принцев, развлекаясь легкомысленными новостями, поставляемыми ей городом, где она жила. Она знала все, и, разумеется, хотела знать все первая. Она видела у себя всех министров и, соответственно, ей представлялись все иностранцы, и многие важные сенаторы наносили ей время от времени длительные визиты. Любопытство тешило ей душу, но она прикрывала вуалью секретности свой интерес, как того требовало знатное общество для всех своих повседневных дел. Итак, м-м Коронини знала все и развлекалась, давая мне очень забавные уроки морали, когда я ее навещал. Поскольку после обеда я должен был идти представиться М. М., я полагал, что мне удастся узнать у этой многопытной дамы что-нибудь интересное относительно этой монахини.

Подведя разговор, очень легко, после нескольких других предложений, к вопросу о монастырях Венеции, мы заговорили об уме и кредите монахини Целси, которая, будучи некрасивой, имела, тем не менее, большое влияние на все, чего желала. Потом мы поговорили о молодой и очаровательной монахине Мишели, которая постриглась, чтобы доказать своей матери, что она умнее, чем та. Поговорив о нескольких других красавицах, по слухам, имевших галантные интересы, я назвал М. М., сказав, что она должна быть из этого ряда, но что это тайна. Мадам ответила мне с улыбкой, что так обстоит дело не для всех, но, в общем, так оно и должно быть.

– Но то, что является действительно тайной, – продолжала она, – это каприз, по которому она захотела принять постриг, будучи красивой, богатой, очень образованной, исполненной интеллекта и, насколько я знаю, интеллекта сильного. Она стала монахиней без всякой на то причины, ни физической, ни моральной. Это был действительно каприз.

– Вы думаете, мадам, она счастлива?

– Да, если она не раскаялась и если раскаяние не придет к ней, что, однако, если она будет благоразумна, не будет известно никому, кроме нее.

Для этой женщины было очевидно, что М. М. должна иметь любовника, и, больше не желая об этом беспокоиться, я, пообедав без аппетита, надел маску и отправился в Мурано. Позвонив в башню, я с бьющимся сердцем спросил М. М. от имени графини де С. Маленькая приемная была закрыта. Мне указали, куда я должен пройти. Я приподнял маску, надев ее на

шляпу, и присел в ожидании богини. Мое сердце билось решительно. Она медлила появиться, и это промедление, вместо того, чтобы беспокоить, меня радовало, я боялся момента свидания и его эффекта. Но очень быстро пролетел час, такая задержка показалась мне необычной. Наверняка ее не известили. Я поднялся, вернув на место маску, возвратился в башню и спросил, известили ли обо мне мать М. М. Голос сказал мне, что да, и что я должен ждать. Я вернулся на свое место, слегка задумавшись, и несколько минут спустя увидел безобразную старую послушницу, которая сказала:

– *Мать М. М. занята весь сегодняшний день.*

Произнеся эти слова, она исчезла.

Вот ужасные моменты, которые случаются с галантным мужчиной; они суть самое жестокое, что может случиться. Они оскорбляют, они удручают, они убивают. Моим первым ощущением было возмущение и унижение, я почувствовал презрение к себе, презрение мрачное, на грани отвращения. Вторым ощущением было гордое негодование по отношению к монахини, о которой у меня сложилось представление, которое она, казалось, заслужила: безрасудная, несчастная, порочная. Я утешал себя, вообразив ее такой. Она могла так поступить со мной, только будучи самой бесстыдной из женщин, полностью лишенной здравого смысла, Поскольку двух ее писем, что у меня имелись, было достаточно, чтобы ее обесчестить, если бы я захотел отомстить, а то, что она сделала, взывало о мести. Она не могла не бояться этого, если не лишилась ума, ее демарш был поступком, продиктованным яростью. Я должен был бы счесть ее обезумевшей, если бы не имел перед тем беседы с графиней.

В смятении, в котором мешались в моей душе, «прикованной к земле»², стыд и гнев, я приободрился однако, отметив светлые моменты. Я ясно увидел, посмеявшись над самим собой, что если бы красота и обиход этой монашки меня не ослепили и не заставили в нее влюбиться, и если бы предубеждение не смутило мой разум, все происшедшее имело бы малое значение. Я видел, что мог бы воспринять все это достойным осмеяния; казалось бы, так все и было.

Чувствуя, несмотря на это, себя оскорбленным, я видел, что должен отомстить, но моя месть не должна содержать в себе ничего низкого, и, чтобы не доставлять несчастной шутнице повода для триумфа, я не должен показывать себя задетым. Она велела сказать мне, что занята – ну что ж. Я должен остаться безразличным. В другой раз она так не поступит, но я брошу ей вызов и не попадусь в ловушку. Мне казалось, что необходимо ее убедить, что своим поведением она лишь вызывает у меня смех. Я должен, без слов, отправить ей оригиналы ее писем, с моей припиской, короткой и доброй. Что мне очень не нравилось, это что я вынужден полностью прекратить ходить на мессу в ее церковь, потому что, не зная, что хожу я туда ради К. К., она может вообразить себе, что я таким образом надеюсь получить от нее извинения и новые свидания, чего я хотел бы избежать. Я хотел, чтобы она уверилась в том, что я ее презираю. Какое-то время я решил, что эти свидания были придуманы, лишь чтобы меня обмануть.

Я заснул ближе к полночи, вынашивая в голове этот проект, и утром, проснувшись, нашел его созревшим. Я написал письмо, и, написав, отложил его на сутки, перечитывая и обдумывая, не сочтет ли она его лишь отражением любовной досады, терзающей меня.

Я хорошо сделал, потому что назавтра, перечитав, я счел его жалким. Я быстро порвал его. В нем были фразы, которые звучали слабыми, жалкими, влюбленными, и которые, соответственно, могли вызвать смех. Были также другие, в которых чувствовался гнев и досада оттого, что я утратил надежду овладеть ею.

На другой день я написал ей другое письмо, написав перед тем К. К., что важные обстоятельства вынуждают меня прекратить посещать мессу в ее церкви. Но на следующий день

² Гораций, Сатиры II, 2, 79.

я снова счел свое письмо смешным и порвал его. Я не знал, что мне написать, и так прошло десять дней с момента получения обиды. Я удерживался от всяких действий.

*Sincerum est nisi vas, quodcumque in fundis acescit.*³

М. М. произвела на меня такое впечатление, что загладить его могла лишь самая сильная и самая великая из всех абстрактных сущностей – время.

В моей нелепой ситуации я двадцать раз собирался идти жаловаться графине де С., но, благодаренье богу, не шел дальше своей двери. Подумав, в конце концов, что этот дурман будет продолжаться лишь в атмосфере тревоги, вызванной существованием ее писем, которые могли привести к потере ее репутации и доставить большие неприятности монастырю, я решил отправить их ей в конверте со следующими словами (это случилось лишь по истечении десяти-двенадцати дней с момента происшествия):

«Прошу вас, мадам, поверить, что лишь из-за недостатка времени я не отправил вам сразу эти два ваших письма. Я никогда бы не подумал прибегнуть, вопреки самому себе, к подлой мести. Я должен извинить вам два ваших неслыханно легкомысленных поступка, которые вы совершили либо по недомыслию, либо чтобы насмеяться надо мной; но я не советую вам поступать таким образом в будущем с кем-либо другим, потому что люди отличаются друг от друга. Я знаю ваше имя, но заверяю вас, что это как если бы я его не знал. Говорю вам это, хотя, может быть, вы и не рассчитываете на мою сдержанность; но если это так, мне вас жаль.

Вы не увидите меня больше в вашей церкви, мадам, и это мне ничего не стоит, потому что я перейду в другую; но кажется, я должен объяснить вам причину. Я легко могу предположить, что вы совершили третью оплошность, похвалившись своим маленьким подвигом кому-нибудь из ваших друзей, и, приходя, я испытываю стыд показаться им. Извините, если, несмотря на пять или шесть лет, на которые, думаю, я старше вас, я еще не растоптал всех предрассудков; согласитесь, мадам, что некоторые из них вообще не следует стряхивать. Не отнеситесь с пренебрежением к тому, что я даю вам этот маленький урок, после того, слишком большого, который вы перед тем дали мне, единственно, с тем, чтобы посмеяться. Будьте уверены, что я буду пользоваться им до конца своих дней».

Я решил этим письмом истолковать эту шалость с наибольшей возможной мягкостью. Я вышел и подозвал *фурлана*⁴, который не мог меня узнать под маской, и дал ему свое письмо, в котором лежали и два других, дал ему сорок су, чтобы он отвез его в Мурано по адресу, пообещав еще сорок, когда он вернется, чтобы дать мне отчет, как он выполнил поручение. Я дал ему инструкцию, что он должен передать пакет привратнице и уйти, не дожидаясь ответа, даже если привратница велит ему подождать. Честно говоря, я опасался ошибки, если бы заставил его подождать ответа. В наших краях *фурланы* так же надежны и верны, как савояры в Париже десять лет спустя.

Пять-шесть дней спустя, выходя из оперы, я вижу того же фурлана с фонарем в руке. Я подзываю его и, не снимая маски, спрашиваю, знает ли он меня. Хорошо меня разглядев, он отвечает, что нет. Я спрашиваю, хорошо ли он выполнил в Мурано поручение, которое я ему дал.

– Ах, месье, слава богу! Поскольку это вы, я должен сказать вам что-то важное. Я отнес ваше письмо, как вы мне велели, и, передав его привратнице, ушел, несмотря на то, что она сказала мне подождать. По возвращении я вас не нашел, но это неважно. На другой день утром фурлан, мой товарищ, который был в привратницкой, когда я передавал ваше письмо, пришел разбудить меня и сказать, чтобы я отправился в Мурано, потому что привратнице необходимо со мной поговорить. Я пошел туда и, после небольшого ожидания, она говорит мне идти в приемную, где монахиня хочет со мной поговорить. Эта монахиня, прекрасная, как утренняя

³ «Если ваза нечиста, все, что в нее попадает, загрязнится» – *Гораций, Эпистолы, I, 2, 54.*

⁴ лодочника – *прим. перев.*

звезда, держала меня час и еще больше, задавая мне сотню вопросов, все относительно того, кто вы есть, по крайней мере выяснить место, где я смог бы вас найти, но все было бесполезно, потому что я ничего не знал.

Она ушла, приказав мне ждать, и два часа спустя появилась вновь с письмом. Она вручила его мне, сказав, что если я смогу вам его вручить и привезти ей ответ, она даст мне два цехина; но если я не найду вас, я должен ездить каждый день в Мурано и показывать ей ее письмо, пообещав, что за каждую поездку я буду получать сорок су. До сего дня я получил двадцать ливров; но боюсь, ей это надоест. Только от вас зависит дать мне заработать два цехина, ответив на ее письмо.

– Где оно?

– У меня под замком, потому что я все время боюсь его потерять.

– Как же ты хочешь, чтобы я ответил?

– Подождите меня здесь. Вы увидите меня с письмом через четверть часа.

– Я не подожду тебя, потому что этот ответ мне совершенно не интересен; но скажи мне, как ты мог обнадежить монахиню, что ты меня найдешь. Ты плут. Вряд ли она доверила бы тебе письмо, если бы ты не заверил ее, что найдешь меня.

– Это правда. Я описал ей, во что вы были одеты, ваши букли и ваш рост. Уверяю вас, что я десять дней внимательно вглядывался во все маски вашего роста, но напрасно. Вот ваши букли, которые я узнаю; но я не узнал вас в одежде. Ну же, месье! Вам ничего не стоит ответить одной строчкой. Подождите меня в этом кафе.

Не в силах больше противиться своему любопытству, я решил не ожидать его в кафе, но пройти с ним к нему. Я не считал себя обязанным ответить иначе, чем: «Я получил ваше письмо. Прощайте». На другой день я сменяю букли и продаю одежду. Я прошел с фурланом к его дверям, он пошел за письмом, дал его мне, и я повел его с собой к гостинице, где, чтобы спокойно прочесть письмо, нанял комнату, велел принести огня и сказал ему подождать снаружи. Я распечатал пакет и первое, что меня поразило, были те два письма, которые она мне написала, и которые я счел своим долгом вернуть ей, чтобы ее успокоить. При этой мысли сильное сердцебиение указало мне на мое поражение. Кроме этих двух писем я увидел еще одно, маленькое, подписанное С. Оно было адресовано М. М. Я читаю его и вижу:

«Маска, которую я приводила и снова приводила, не открыла бы рта для единого слова, если бы я не догадалась сказать ему, что очарование твоего ума еще более пленительно, чем черты твоего лица. Он ответил мне, что хотел бы узнать одно, и что уверен в другом. Я добавила, что не понимаю, почему ты с ним не поговорила; он ответил, улыбнувшись, что ты вольна его наказать, и что, не пожелав быть ему представленной, ты захотела, в свою очередь, проигнорировать тот факт, что он находится там. Вот весь наш диалог. Я хотела отправить тебе эту записку тем же утром, но не смогла. Прощай, С. Ф.»

Я прочитал эту записку графини, в которой я ни на йоту не отклонился от правды, и которая могла быть оправдательным документом, и мое сердцебиение несколько успокоилось. Обрадованный, что я был неправ, я приободрился, и вот что я нашел в письме М. М.:

«По слабости, которую я считаю вполне извинительной, любопытствуя узнать, что вы говорили обо мне графине, придя меня повидать и проводив ее обратно, я выбрала момент, когда вы прогуливались в приемной, чтобы попросить ее рассказать мне об этом. Я сказала ее рассказать мне об этом сразу или на другой день с утра, потому что предвидела, что после обеда вы наверняка сделаете мне визит. Ее записка, которую я вам отсылаю и прошу вас ее прочесть, достигла меня полчасом позже того, как вас отослали. Это первая фатальная ошибка. Не получив еще этой записки, когда вы пришли ко мне, я не решилась вас принять. Вторая фатальная слабость, которую можно легко простить. Я велела привратнице сказать, что *я буду больна весь день*. Вполне законное оправдание, будь оно правдивым или ложным, потому что это официальный обман, при котором слова *весь день* говорят все. Вы ушли, и я не могла позже

позвать вас, когда старая дура пришла и сказала мне, что она вам передала, не что *я больна*, но что *я занята*. Третья фатальная ошибка. Вы не поверите, что, в своем гневе, мне хотелось сказать и что сделать с этой привратницей, но здесь ничего уже нельзя было ни сказать, ни сделать. Нужно было соблюдать спокойствие, затаиться и благодарить бога, что ошибки произошли скорее по глупости, а не по злему умыслу. Я частично предвидела последствия того, что случилось, потому что человеческий разум не может предвидеть все. Я догадывалась, что вы, полагая себя обманутым, возмутитесь, и опасалась ужасного наказания, не зная, как донести до вас правду до первого дня праздников. Я была уверена, что вы придете в церковь. Кто мог бы вообразить, какой невероятной силы шаг вы предпримете, когда ваше письмо оказалось у меня перед глазами? Когда я не увидела вас в церкви, моя боль стала невыносимой, она была смертельна, но она ввергла меня в отчаяние и пронзила мне сердце, когда я прочла, одиннадцать дней спустя, письмо, жестокое, варварское, несправедливое, что вы мне написали. Оно сделало меня несчастной, и я умру, если вы, как можно скорее, не придете оправдаться. Вы полагаете себя в проигрыше – вот все, что вы можете сказать, и думаете, что вас обманули. Но даже если вы полагаете, что вас разыграли, признайте, что предприняв шаги, которые вы предприняли, и написав ужасное письмо, которое вы мне написали, вы должны предстать передо мной монстром, которого невозможно себе представить женщине с рождением и воспитанием, как я. Я отправляю обратно два письма, которые вы мне переправили, полагая, что они усиливают мою тревогу. Знайте, что я лучший физиономист, чем вы, и то, что я сделала, я сделала не по легкомыслию, Я никогда не считала вас способным на черный поступок, даже теперь, когда вы уверены, что я вас нагло обманула, а вы увидели в моем лице лишь душу бесстыдницы. Вы будете, возможно, причиной моей смерти, или, по крайней мере, сделаете несчастной на весь остаток моих дней, если не попытаетесь оправдаться, потому что, по-моему, я человек, с любой стороны.

Подумайте, по крайней мере, что даже если моя жизнь вас не интересует, ваша честь требует, чтобы вы явились со мной поговорить. Вы должны лично прийти и опровергнуть все, что вы мне написали. Если вы не понимаете губительного эффекта, который ваше ужасное письмо должно произвести в душе невинной и не бесчувственной женщины, позвольте вас пожалеть. В вас нет ни малейшего понимания людского сердца. Но я уверена, что вы придете, если человек, которому я вручаю это письмо, вас найдет. М. М.»

Мне не нужно было перечитывать это письмо дважды, чтобы впасть в отчаяние. М. М. была права. Я надел маску, перед тем, как выйти из комнаты и поговорить с фурланом. Я спросил у него, говорил ли он с ней утром, и был ли у нее больной вид. Он ответил, что каждый день она выглядела все более подавленной. Я вошел снова в комнату, велел ему ждать.

Я окончил ей писать лишь на рассвете. Вот, слово в слово, письмо, которое я написал самой благородной из женщин, которую я, по незнанию, жестоко оскорбил.

«Я виноват, мадам, и нахожусь в невозможности оправдаться, при том, что вполне убежден в вашей невинности. Я могу дальше жить, только надеясь на ваше прощение, и вы мне дадите его, когда поразмыслите над тем, что меня ввергло в преступление. Я видел вас, вы меня ослепили, и, мечтая об этой чести, я счел ее химерической, мне казалось, что я сплю. Я сутки не мог избавиться от сомнения, и один бог знает, сколь долгими они для меня были. Наконец, они прошли, и мое сердце трепетало, когда я был в приемной, считая минуты. В конце шестидесятой, которая, однако, вследствие совершенно нового для меня волнения, пролетела очень быстро, я вижу зловещее лицо, которое с отвратительным лаконизмом говорит мне, что вы *заняты* весь день; затем оно уходит. Вообразите себе остальное. Увы! Это был настоящий удар молнии, *который меня не убил, но и не оставил живым*. Осмелюсь ли сказать вам, мадам, что, направив мне, пусть через руки той привратницы, две строчки, написанные вашим пером, вы освободили бы меня, вполне довольного, от малейшего беспокойства? Это четвертая фатальная ошибка, на которую вы забыли сослаться в вашем очаровательном и очень сильном оправ-

дании. Эффект молнии был фатальным, я увидел себя обманутым, осмеянным. Это меня возмутило, мое самолюбие кричало, мной овладел мрачный стыд. Я впал в ужас и вынужден был предположить, что под маской ангела вы прячете душу ужасную. Я впал в подавленное состояние и на одиннадцать дней утратил свой здравый смысл. Я написал вам письмо, на которое вы тысячу раз могли обидеться, но поверили ли вы ему? Я полагал его честным. Но сейчас все кончено. Вы увидите меня у ваших ног за час до полудня. Я не буду спать. Вы простите меня, мадам, или я вам отомщу. Да, я сам буду вашим мстителем. Единственное, о чем я вас прошу как о милости, – сжечь мое письмо, или завтра не о чем будет говорить. Я отправил его вам, лишь написав и порвав, после того, как перечитал, четыре предыдущих, потому что нашел в них фразы, из которых, боюсь, вы заметите страсть, которую мне внушили. Дама, которая насмеялась надо мной, недостойна моей любви, пусть она будет само совершенство. Я не боюсь, но... Несчастный! Мог ли я счесть вас способной на такое, после того, как вас увидел? Пойду, брошусь на кровать, чтобы провести три-четыре часа. Слезы увлажняют мое изголовье. Я приказал этому человеку идти сразу в ваш монастырь, чтобы я был уверен, что вы получили это письмо при своем пробуждении. Он бы меня никогда не нашел, если бы я не встретил его, выходя из оперы. Мне больше нет в нем нужды. Не отвечайте мне».

Запечатав письмо, я отдал его фурлану и велел идти прямо к дверям монастыря и отдать его только в руки монахини. Он обещал мне это, я дал ему цехин и он ушел. Проведя шесть часов в беспокойстве, я надел маску и направился в Мурано, где М. М. вышла мне навстречу. Меня пригласили в малую приемную, где я видел ее вместе с графиней. Я бросился перед ней на колени, но она приказала мне побыстрее подняться, потому что кто-нибудь мог нас увидеть. Ее лицо мгновенно озарилось пламенем. Она села, я сел перед ней, и мы провели так, переглядываясь друг с другом, добрую четверть часа. Я нарушил, наконец, молчание, спросив ее, могу ли я считать себя прощенным, и она протянула свою руку за решетку; я оросил ее слезами, поцеловав сотню раз. Она сказала, что наше знакомство, начавшись с такой жестокой бури, должно сулить нам в дальнейшем неземное спокойствие.

– Мы разговариваем впервые, – сказала она, – но того, что с нами произошло, достаточно, чтобы внушить нам надежду на полное взаимное понимание. Я надеюсь, что наша дружба будет такой же нежной, как и верной, и мы будем оба снисходительны к нашим ошибкам.

– Как смогу я, мадам, убедить вас в своих чувствах вне этих стен и во всей радости моей души?

– Мы поужинаем в моем казене, когда вы захотите: я только должна знать об этом за два дня; либо встретимся с вами в Венеции, если это вас не стеснит.

– Это только увеличит мое счастье; должен вам сказать, что я вполне свободен и не стеснен в расходах, и все, что я имею, принадлежит объекту моего обожания.

– Это признание меня радует, дорогой друг. Могу вам сказать, что я достаточно богата, и чувствую, что ничего не пожалею для возлюбленного.

– Но у вас должен быть один.

– Да, у меня он есть: это ему я обязана своим богатством, и он абсолютно мой хозяин. Поэтому, я от него ничего не скрою. Послезавтра, в моем казене, вы узнаете больше.

– Но я надеюсь, что ваш возлюбленный...

– Его не будет? Будьте уверены в этом. У вас тоже есть любовница?

Увы! У меня она есть, но ее вырвали из моих рук. Я живу уже шесть месяцев в совершенном celibate.

– Но вы ее еще любите.

– Я не могу ее вспомнить без любви; но предвижу, что ваши соблазнительные прелести заставят меня ее забыть.

– Если бы вы были счастливы, я бы вас пожалела. Вас с ней разлучили, и вы питаете свое горе, удалившись от большого света, я это понимаю. Но если станется, что я займу ее место, никто, дорогой друг, не оторвет меня от вашего сердца.

– Но что скажет ваш любовник?

– Он будет очарован, видя меня нежной и счастливой с таким любовником, как вы. Это в его характере.

Замечательный характер! Героизм, который выше моих сил.

– Какую жизнь ведете вы в Венеции?

– Театр, общество, казены, где я борюсь с фортуной, иногда удачно, иногда нет.

– Также среди иностранных министров?

– Нет, потому что я слишком близко связан с патрициями, но я их всех знаю.

– Как же вы их знаете, если не видите с ними.

– Я познакомился с ними, будучи за границей. Я познакомился в Парме с герцогом де Монталлегре, послом Испании, в Вене с графом Розенбергом, в Париже с послом Франции, почти два года назад.

– Дорогой друг, советую вам уйти, потому что сейчас зазвонит полдень. Приходите послезавтра в это же время, и я дам вам необходимые инструкции, чтобы вы могли прийти поужинать со мной.

– Тет-а-тет?

– Само собой разумеется.

– Смею ли я попросить вас о подарке? – потому что это такое большое счастье.

– Какой подарок вы хотите?

– Увидеть вас стоящей перед маленьким окном, так, чтобы я был на том месте, где была графиня С.

Она поднялась и с самой грациозной улыбкой опустила защелку, и, после поцелуя, горечь которого должна была ей понравиться больше, нежели нежность, я ее покинул. Она проводила меня влюбленным взглядом до дверей.

Радость и беспокойство мешали мне совершенно есть и спать все эти два дня. Мне казалось, что я никогда еще не был счастлив в любви, и становлюсь им в первый раз. Помимо происхождения, красоты и ума М. М., ее действительных достоинств, с ними смешивался предубеждение, придавая величие моему непостижимому счастью. Речь шла о весталке. Я собирался попробовать запретного плода. Я посягнул на права всемогущего супруга, захватывая в его божественном серале самую прекрасную из его султанш.

Если бы в эти моменты мой рассудок был свободен, я увидел бы, что эта монахиня не может быть иной, чем все другие красивые женщины, которых я любил в течение тридцати лет, что я сражаюсь на полях любви, но что это за влюбленный мужчина, что останавливается на этой мысли? Если она и присутствует в его уме, он отбрасывает ее с негодованием. М. М. должна была быть совершенно иной и самой прекрасной из всех женщин во вселенной.

Природа животного, то, что химики относят к животному царству, находится под воздействием тройного инстинкта. Это три его настоятельные потребности. Оно должно питаться, и поскольку это не насильственная работа, у него должно быть чувство, называемое аппетитом, и оно получает удовольствие от его удовлетворения. На втором месте, оно должно воспроизводить свою породу путем деторождения, и оно не исполняло бы этот долг, если бы, как говорит св. Августин, не получало от этого удовольствия. На третьем месте находится неодолимая потребность уничтожить своих врагов, и ничто не находит лучшего оправдания, потому что, ввиду потребности в самосохранении, он должен ненавидеть все, что ему противостоит, и желать его уничтожения. Этот общий закон влияет на каждое создание по-своему. Эти три потребности – голод, стремление к совокуплению и ненависть, выражающаяся в стремлении к сокрушению врага – лежат в основе обычного удовлетворения; условимся называть их удоволь-

ствиями; они могут рассматриваться лишь по отношению к самим существам; они не имеют смысла помимо субъекта. Только человек может получать истинное удовольствие, потому что, одаренный способностью к рассуждению, он его предвидит, он его ищет, он его творит и он рассуждает о нем, уже пережив его. Дорогой читатель, прошу вас следовать за мной; если вы отстали от меня, вы невежливы. Рассмотрим все как есть. Человек находится в тех же условиях, что и животное, потому что подвержен тем же трем склонностям, без вмешательства разума. Когда в дело вмешивается наш разум, эти три удовольствия становятся – наслаждение, наслаждение и наслаждение: необъяснимое ощущение, которое заставляет нас переживать то, что называют счастьем, то, что мы не можем объяснить, хотя и переживаем.

Человек чувственный, рассуждая, пренебрегает чревоугодием, распутством и грубой местью, проистекающей от первого порыва гнева; он лакомка; он влюбляется, но он хочет наслаждаться объектом своей любви, только при условии, что любим; и, будучи оскорблен, он готов мстить, только будучи в хладнокровном состоянии и выбирая способы мести, наиболее подходящие ему, чтобы насладиться удовольствием. Он будет более жесток, но он утешится, поступив, по крайней мере, разумно. Эти три действия суть производное души, которая, чтобы жить в удовольствии, становится министром страстей *quas nisi parent imperant*.⁵

Мы переносим голод, чтобы острее воспринимать вкус *ragu*; мы оттягиваем наслаждение любви, чтобы сделать его более живым; и мы откладываем месть, чтобы сделать ее более смертоносной. Верно, однако, что часто умирают от несварения, что мы обманываем и бываем обмануты в любви софизмами, и что объект, который мы хотим уничтожить, часто ускользает от нашего возмездия, но мы добровольно идем на эти риски.

⁵ «который, если не слушаются, командует» – Гораций, *Эпист.*, 1, 2, 62.

Глава III

Продолжение предыдущей главы. Первое свидание с М. М. Письмо К.К. Мое второе свидание с монахиней в моем превосходном казене в Венеции. Я счастлив.

Ничто не может быть более дорого для человека мыслящего, чем жизнь, и, несмотря на это, наиболее сластолюбив тот, кто лучше пользуется трудным искусством заставлять ее проходить быстрее. Не желают сделать ее короче, но хотят, чтобы наслаждения делали ее течение незаметным. И они правы, если при этом не пренебрегают своими обязанностями. Те, кто полагает, что в мире есть лишь приятное их чувствам, ошибаются, и, возможно, Гораций также ошибается, когда говорит Юлиусу Флорусу: *Nec meiuam quid de me iudicet hères, Quod non plura datis inueniet.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.